**БУЛЬВАР**

Каждый день на бульваре было одно и тоже – будто время остановилось и через это остановившееся время, как через площадь, двигалась кем-то раз и навсегда заведённая машина и будто лента этой машины –   
пёстрая, живая, была намотана на катушку бульвара. Здесь было всё: улыбки, разговоры, смешки, бумажки от конфет, семечки, косточки от вишен и абрикосов, степенные собачки на цепочках, собаки без цепочек, кошки с исцарапанными носами, облизывающиеся розовым язычком, всегда немного таинственные и загадочные, полосатые мячи, игрушечные лошади, дети, шляпки, галстучки, трости и многое другое. Всё это было соединено в одну движущуюся массу, крепкую, липкую, неумолимую, – от неё не отвяжешься, её не обойдёшь! Она засосёт тебя, заключит в свои цепкие объятия, понесёт вниз по течению, ты и шапкой махнуть не успеешь.

Движется эта масса, шумит, шуршит, каждый день как будто другая, и в то же время та же; как будто та же, и в то же время другая; и разговор как будто тот же, раз навсегда заведённый. Точно один рот, одни зубы, одни языки, одни уши у ленты этой пёстрой, движущейся, омывающей берега бульвара толпы: в одном месте услышишь:

– Ах, – оглянуться не успеешь, как в другом, далеко от первого:

– Ах, – уплыло, протекло.

– Какой же вы? – не успеешь запомнить лица того, кто произнёс эти слова, как в третьем месте:

– Любезник! – и невольно соединяешь в одно эти три восклицания, вылетевшие из трёх разных ртов, в разных концах бульвара, и получается одно – (один рот, один язык, одни уши!).

– Ах, какой вы любезник, – точно один кусок бульвара, нагнувшись к другому, шепчет, шурша пыльными, как бы залежавшимися деревьями:

– Ах, какой вы любезник.

Или пронесётся над самым ухом:

– А-гы-гы-гы, – и орава ртов, вооружённых зубами, белыми, как снег на заре, промчится вдаль, пронесётся вниз по течению и не успеют заглохнуть раскаты этого «гы-гы-гы»,– как на смену несутся новые крики и смех, и сейчас же, как бы продолжение этих звуков, но более тихое, заглушённое, перешедшее в шепоток:

– Ну, как ваши?

– Ничего, а ваши?

– Спасибо, наши ничего.

Машина заведена, смазана человеческим потом, слюной отапливается человеческим дыханием, спёртым и душным, и не может остановиться. И движется она пёстрой, лентой, вниз по течению, через площадь остановившегося времени. И вместе с этой машиной, в этой машине, одним из её винтиков (если можно применить это сравнение к рыхлой движущейся массе), был Иван Васильевич Шесток – мелкий служащий Моссукна.

Каждый день совершал он прогулки по бульвару, каждый день проносился одной из точек на узоре пёстрой человеческой ленты и не замечал ничего – ни лиц, ни конфет, ни бумажек от конфет, ни кошек, ни собак, ни деревьев. Он шёл медленно и степенно, с палкой и портфелем (с которым никогда не расставался «для солидности»), и как-то особенно дышал – по системе Миллера, усвоенной им лишь недавно по слепой случайности: книга Миллера попала к нему в числе «5 книг за 3 копейки» у Ильинских ворот.

Надо сказать, что Иван Васильевич почти никогда ничего не замечал, так занят был собой и своими мыслями. Думал он о многом: как хорошо бы получить прибавку, и как удивились все на службе, если бы в один прекрасный день он подъехал в казённом экипаже и сказал: «Теперь я у вас главный», а ещё хорошо, если бы он вдруг получил титул графа Монте-Кристо и уехал в Италию в своё поместье. Эта смешная мысль с самым серьёзным видом посещала его голову, приходила в гости, как приходят люди попить чай, побеседовать, однако, надо сознаться, что, подобно приличным гостям, долго не застревала в голове. Каждая мысль находила своё противоядие: прибавки он всё равно не получит, на казённом экипаже к месту службы не подъедет: надо было раньше об этом думать, не саботировать рабоче-крестьянскую власть, когда он был чиновником контрольной палаты, а сразу прийти и сказать: «Я с вами». Но кто мог подумать, что «это» продержится, а насчёт графа Монте-Кристо совсем нелепо – нет у него за границей родных, которые могли бы умереть и оставить состояние и этот фантастический титул, но это пустяки. Главное в том, что вот уже неделя, как Иван Васильевич потерял покой и, гуляя по бульвару, ничего не замечал, кроме одного, вернее, одной. Это была девушка или женщина лет двадцати пяти, стройная, худенькая, нежная; она, как и Иван Васильевич, приходила на бульвар в те же часы и всегда одна.

В последнее время с Иваном Васильевичем творилось что-то небывалое: снились какие-то птицы, рыбы, похожие на женщин, голые тела... Ему было сорок девять лет, всю жизнь он прожил один, никогда не мечтал о женитьбе, женщин боялся как огня, и вдруг сразу точно вихрь налетел, закрутил и… бросил к ногам какой-то незнакомой, худенькой, бедно одетой женщины.

Бывают явления, которые человек может быстро объяснить, а бывают такие, над которыми как ни бейся, всё равно не узнаешь истины. История с неизвестной была для Ивана Васильевича явлением загадочным: он ничего не мог понять, кроме того, что его неудержимо влекло к ней. Он едва досиживал на службе положенное время, бежал в вегетарианскую столовую, наспех съедал суп-пюре и рисовый пудинг и мчался на бульвар. Там, в определённом месте, недалеко от кафе «Моссельпром», прогуливалась его незнакомка, грустная, тихая, всегда одна. Иван Васильевич не знал, что будет дальше, но чувствовал, что долго так продолжаться не может. Надо решиться на какой-то шаг, но на какой – он не знал. И лишь в конце недели, случайно, за рисовым пудингом, пришла мысль – простая и тихая, как незнакомка.

В этот же вечер он подошёл к ней. Против его ожидания, она не оттолкнула его, не возмутилась, даже помогла ему в ужаснейшем положении (Иван Васильевич был неопытен и беспомощен). Она заговорила первая. Завязался разговор. Сердце его колотилось. Она рассказала о себе. Это была простая и грустная повесть: дочь врача, погибшего во время Гражданской войны, сирота, не умеющая работать, жизнь, полная нужды, почти нищета. В прошлом году сошлась с человеком (кто он, она не хотела сказать), он её бросил, теперь она одна, жизнь трудная, тяжёлая, единственный выход – продавать себя, но она не может на это решиться, не может…

Они сидели на боковой аллее, в укромном уголке, на скамейке. Он смотрел на неё искоса – она казалась такой близкой. Он взял её руку. Она не сопротивлялась. И вдруг он почувствовал жуткую пустоту своей одинокой холостяцкой жизни. Перед ним проносились его годы – сухие, шершавые, серые, как пыльные крокетные шары в душном летнем сарае, его комната, узкая железная кровать, пыльные занавески, посуда, всегда недомытая, – он не умел мыть, как следует. Всё это вставало перед глазами, напоминая о том, что впереди – годы, такие же пыльные, безрадостные, одинокие.

Он ещё раз окинул взглядом прошлую жизнь: точно луч солнца ударил в затхлый подвал и осветил паутину, пыль, грязь, которые раньше были незаметны. Он увидел, чего не замечал прежде: грязную неряшливую жизнь, нужду, одиночество, скуку холостой комнаты. «Точно всю жизнь на одной ноге прыгать, – подумал он, – такова доля холостяка». Он подумал также о том, как портится характер у одинокого – рождается сухость, злоба, зависть, развивается эгоизм. Одна мысль вызывала другую.

Он не удивился, что в одно мгновенье в нём произошла такая перемена – старая жизнь показалась ненужной, нудной, нелепой, мучительно захотелось иного – тихой семейной пристани. «Сама судьба посылает её ко мне», – подумал он, чувствуя, что не обманывается, от неё веяло такой скорбью и порядочностью, что он, растерянный, взволнованный, задыхаясь от нового, не испытанного чувства, скороговоркой проговорил (путаясь, сбиваясь и краснея):

– А скажите, если порядочный человек… служащий… сочувствующий Советской власти... правда, немолодой, но… не потрёпанный жизнью… сделал бы вам предложение, какой был бы ваш ответ… – он запнулся. «Какой был бы ваш ответ» – ему не понравилось, точно канцелярский выкрутас, но поправляться поздно, тем более что она, не замечая стилистических погрешностей собеседника, ответила прямо и просто:

– Я так люблю жизнь… так хочу жить, честно и порядочно, что ни минуты не задумалась бы, – и, сделав маленькую паузу, добавила, – даже лучше, что пожилой.

Иван Васильевич подумал, что жалование его, хотя и маленькое, но тяжёлые пайковые времена прошли, он аккуратен, скромен, и жена почти ничего не будет стоить, даже может экономия выйти. Что было дальше – он помнит как сквозь сон – всё было так странно в этот душный июльский вечер, они шли по бульвару под руку, как старые знакомые (он наблюдал искоса за самим собой и своей спутницей и решил, что имеет степенный и благородный вид). Когда прогулка их утомила, пригласил её к себе. Она согласилась сразу, без кривляний. Это ему понравилось. Мы живём не в восемнадцатом веке, и революция принесла пользу в смысле упрощения жизни и искоренения нелепых предрассудков, которые отравляли прежде и без того несладкую жизнь.

Он открыл дверь своим ключом. Она держала себя просто и хорошо. Иван Васильевич любовался ею – она не была красива, но в ней было какое-то очарование, недаром она сразу покорила его сердце, которое не билось сильнее при приближении других женщин – а скольких он встречал на своём веку. Она начала распоряжаться, он не успел оглянуться, как на столе было всё – хлеб, масло, шипел примус. В ожидании, когда закипит вода в чайнике, она села в кресло.

Он подошёл к ней:

– Вот мы и дома. – И вдруг засмеялся: – А я не знаю, как вас зовут!

– Мария Ивановна, – ответила она.

– Мария Ивановна, Иван Васильевич, Мария Ивановна, Иван Васильевич, – повторил он несколько раз, – очень хорошо получается. Вы хотите кушать? Я приготовлю вам яичницу. Скажите, не стесняйтесь. –   
Потом, не дожидаясь ответа, обнял её. Она не сопротивлялась. Это возбуждало ещё больше. У него закружилась голова.

**. . . .**

Через полчаса они сидели за чайным столом, молчаливые и тихие. Ивану Васильевичу она уже не казалась привлекательной, таинственной незнакомкой. Мария Ивановна была смущена. Она не ожидала, что всё так случится. Иван Васильевич смотрел на её худые плечи и думал: «А вдруг привяжется и не уйдёт или начнёт ходить каждый день, свяжет по рукам и ногам». От этой мысли у него начало сосать под ложечкой (так ему казалось). Его раздражал запах одеколона. «Эти женщины, –   
подумал он, – есть нечего, а тратятся на духи, впрочем, может быть, ей дарят такие же дураки, как и я. Вероятно, их много. Я тоже хорош, чуть не вляпался, жениться захотел…»

– Что же вы не пьёте?

Иван Васильевич незаметно убрал масло, оставив на столе один хлеб.

Мария Ивановна почувствовала перемену в Иване Васильевиче и сидела грустная и тихая. Иван Васильевич вспомнил, что обещал угостить гостью яичницей.

– Может быть, вы хотите… кушать? – нерешительно спросил он.

Мария Ивановна опустила голову и тихо ответила:

– Если можно… Я не ела с утра.

Иван Васильевич с шумом поднялся:

– Сейчас, сейчас. – «Чёрт знает что такое, – продумал он, – теперь возись с ней! Как всё это глупо вышло. Только купил десяток яиц, думал, на пять дней, по два каждое утро, а теперь… из скольких яиц сделать яичницу? Из трёх? Меньше нельзя», – он подошёл к подоконнику. За окном был ящик для продуктов. Вынув из мешочка три яйца, он вдруг положил одно обратно, – довольно и двух, незаметно ведь сколько, сделаю смешанную. Ах, чёрт, связался… жениться захотел… вот глупо…» – Он, пыхтя, начал нехотя готовить яичницу.

Мария Ивановна сидела затихшая и тоже не могла понять, как всё это произошло. На неё тоже нашло наваждение, там, на бульваре она поверила, что идёт к человеку, а не к мужчине. Она знала горечь жизни, но знала также, что бывают разные исключения.

Когда яичница была готова, Иван Васильевич поставил её на стол, а сам отошёл в сторону: ему неприятно было смотреть, как Мария Ивановна, торопясь и обжигаясь, начала есть. На мгновенье показалось, что вернулся 20-й год: пайки, вобла, сухари… Ему приходилось тогда особенно туго и поэтому стало так неприятно, точно кто-то насильно заставлял его смотреть на отвратительные, вызывающие тошноту, снимки болезней и язв.

Мария Ивановна сделала вид, что насытилась.

– Мне так совестно, —сказала она.

– Ничего, ничего. – Ивану Васильевичу было не по себе: хоть бы скорее она уходила. Неужели не догадается…

Как бы отгадывая его мысли, женщина сказала:

– Мне пора.

Иван Васильевич её не задерживал, а подумал: «Может быть, ей надо что-нибудь дать? – Но сейчас же себя выругал: – Разве можно, ведь она не проститутка». Он проводил её до дверей, растерянную, тихую, сконфуженную.

– Ну, вот… до свидания, – сказала она.

– До свидания, – ответил он, – и почему-то начал гладить её по плечу. Плечо было худенькое и вздрагивало, как птичка, упавшая из гнезда.

– Как-нибудь встретимся, – сказал он на прощание, – а сам по-  
думал: «Господи, как хорошо, что не спросила ни фамилии, ни адреса, а вдруг… запомнит, так и зайдёт»,– Знаете, вы ко мне… без меня – сказал он, запинаясь, – не приходите. Здесь квартира уплотнённая, чужие, неудобно...

– Нет, что вы, что вы, – залепетала та. И ушла. Её шляпка качнулась в воздухе и исчезла. Так исчезают птицы в воздухе.

«Завтра пойду на другой бульвар, а то встретишь, неудобно как-то…».

На другой день Иван Васильевич был на другом бульваре, и там было, как и на прежнем. Каждый день одно и то же, будто время остановилось, и через это остановившееся время, как через площадь, двигалась кем-то раз навсегда заведённая машина, и будто лента этой машины – пёстрая, живая, была намотана на катушку бульвара. Здесь было всё: улыбки, разговоры, смешки, бумажки от конфет, семечки, косточки от вишен и абрикосов, степенные собачки на цепочках, собаки без цепочек, кошки с исцарапанными носами, облизывающиеся розовым язычком, всегда немного таинственные и загадочные, полосатые мячи, игрушечные лошадки, дети, шляпки, галстучки, трости и многое другое. Всё это было соединено в одну движущуюся массу, крепкую, липкую, неумолимую, – от неё не отвяжешься, её не обойдёшь! Она засосёт тебя, заключит в свои цепкие объятия, понесёт вниз по течению, ты и шапкой махнуть не успеешь.

Движется эта масса, шумит, шуршит, каждый день как будто другая, и в то же время та же, как будто та же, и в то же время другая; и разговор как будто тот же, раз навсегда заведённый. Точно один рот, одни зубы, один язык, одни уши.